

Вопрос **Инфо**

Уважаемые участники!

Олимпиадное задание по направлению «Литературное мастерство» состоит из двух частей:

Инвариантная часть – задание №1 в виде эссе. Эссе нужно написать всем участникам.

Вариативная часть разделена на треки:

- Трек «Художественная проза»: задание №2.
- Трек «Художественный перевод»: задание №3.
- Трек «Литературная критика»: задание №4.

Вы можете сосредоточиться на выполнении задания одного трека (чтобы претендовать на статус дипломанта I, II, III степени) или постараться решить наибольшее число задач вне зависимости от треков, чтобы претендовать на статус медалиста.

Вы можете пользоваться черновиком (в качестве черновика разрешено использовать чистые листы бумаги. При необходимости можете делать черновые пометки в окне ответов внутри тестирующей системы), но на проверку он не предъявляется. При выполнении заданий вы можете пользоваться любыми онлайн-словарями **для перевода** (другие типы словарей запрещены). Обратите внимание: допустимы именно словари, использование переводчиков для перевода целых предложений и абзацев запрещено!

Верим в ваш успех!

Вопрос **1**

Балл: 50,00

Инвариантная часть. Это задание нужно выполнить всем участникам

Напишите эссе на тему:

«Должен ли современный писатель делать карьеру в сети?»

Аргументируя свою точку зрения, приведите примеры, пожалуйста. Рекомендуемый объем – до 3000 знаков.

Вопрос **Инфо**

Творческое задание для трека «Художественная проза». Это задание учитывается в рейтинге по треку «Художественная проза» и в рейтинге медалистов.

Общие требования:

1. Творческое задание предполагает написание художественного текста с

Литературное мастерство

использованием образов, тропов.

2. Объём – до 3000 знаков с пробелами.
3. Структура текста должна быть подчинена ключевой идее.

Критерии оценивания: богатство языка, отсутствие штампов, выразительность художественных образов, логичность повествования, композиционная завершенность, оригинальность мышления, грамотность (наличие грамматических и пунктуационных ошибок снижает балл).

Вопрос 2

Балл: 50,00

Напишите художественный текст на тему:

«А что – так можно было?»

Рекомендуемый объем – до 3000 знаков.

Вопрос **Инфо**

Задание для трека «Художественный перевод». Это задание учитывается в рейтинге по треку «Художественный перевод» и в рейтинге медалистов.

Общие требования: перевод фрагмента художественного текста с английского языка, предполагающий максимально полную передачу его стилистических, структурных и смысловых особенностей.

Критерии оценивания: оценивается адекватность перевода, т.е. полнота передачи смыслового и стилистического содержания текста, уместность тех или иных переводческих решений, а также грамотность: наличие грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок снижает балл.

Вопрос 3

Балл: 50,00

Переведите на русский язык текст.

Hanya Yanagihara To Paradise

“It has been important for me to raise the three of you with honesty,” he began after one of his silences. “I know other grandfathers would not be having this discussion with you, whether from a sense of discretion or because he would rather not suffer the arguments and disappointments that inevitably come from it—why should one, when those arguments can be had when one is gone, and no longer has to be involved? But I am not that kind of grandfather to you three, and never have been, and so I think it best to speak to you plainly. Mind you”—and here he stopped and looked at each of them, sharply, in turn—“this does not mean I plan on suffering any disappointments now: My telling you what I am about to does not mean it is unsettled in my mind; this is the end of the subject, not its beginning. I am telling you so there will be no misinterpretations, no speculations—you are hearing it from me, with your own ears, not from a piece of paper in Frances Holson’s office with all of you clad in black.

Литературное мастерство

"It should not surprise you to learn that I intend to divide my estate among the three of you equally. You all have personal items and assets from your parents, of course, but I have assigned you each some of my own treasures, things I think you or your children will enjoy, individually. The discovery of those will have to wait until I am no longer with you. There has been money set aside for any children you may have. For the children you already have, I have established trusts: Eden, there is one apiece for Wolf and Rosemary; John, there is one for Timothy as well. And, David, there is an equal amount for any of your potential heirs.

"Bingham Brothers will remain in control of its board of directors, and its shares will be divided among the three of you. You will each retain a seat on the board. Should you decide to sell your shares, the penalties will be steep, and you must offer your siblings the opportunity to buy them first, at a reduced rate, and then the sale must be approved by the rest of the board. I have discussed this all with you before, individually. None of this should be remarkable."

Now he shifted again, and so did the siblings, for they knew that what was to be announced next was the real riddle, and they knew, and knew that their grandfather knew, that whatever he had decided would make some combination of them unhappy—it was only to be a matter of which combination.

"Eden," he announced, "you shall have Frog's Pond Way and the Fifth Avenue apartment. John, you shall have the Larkspur estate and the Newport house."

And here the air seemed to tighten and shimmer, as they all realized what this meant: that David would have the house on Washington Square.

"And to David," Grandfather said, slowly, "Washington Square. And the Hudson cottage."

He looked tired then, and leaned back deeper still in his seat from what seemed like true exhaustion, not just performance, and still the silence continued. "And that is that, that is my decision," Grandfather declared. "I want you all to assent, aloud, now."

"Yes, Grandfather," they all murmured, and then David found himself and added, "Thank you, Grandfather," and John and Eden, waking from their own trances, echoed him.

"You're welcome," Grandfather said. "Although let us hope it might be many years still until Eden is tearing down my beloved root shack at Frog's Pond," and he smiled at her, and she managed to return it.

After this, and without any of them saying it, the evening came to an abrupt close. John rang for Matthew to summon Peter and Eliza and ready their hansoms, and then there were handshakes and kisses and the leave-taking, with all of them walking to the door and his siblings and their spouses draping themselves in cloaks and shawls and wrapping themselves in scarves, normally an oddly raucous and prolonged affair, with last-minute proclamations about the meal and announcements and stray, forgotten bits of information about their outside lives, was muted and brief, Peter and Eliza both already wearing the expectant, indulgent, sympathetic expressions that anyone who married into the Bingham's orbit learned to adopt early in their tenure. And then they were gone, in a last round of embraces and goodbyes that included David in gesture if not in warmth or spirit.

Вопрос **Инфо**

Задание для трека «Литературная критика». Это задание учитывается в рейтинге по треку «Литературная критика» и в рейтинге медалистов.

Общие требования:

1. Творческое задание предполагает написание рецензии, включающей в себя анализ художественного текста, культурные и литературные параллели, а также элементы общественно-исторического контекста.
2. Объем – до 3000 знаков.
3. Структура рецензии должна быть подчинена ключевой идее.

Критерии оценивания: главная мысль рецензии и ее соответствие стилю изложения, структура, глубина анализа, богатство языка, грамотность.

Вопрос 4

Балл: 50,00

Напишите рецензию на рассказ Сергея Носова «Проба». Рекомендуемый объем рецензии – до 3000 знаков с пробелами.

ПРОБА

Лестница была и темной, и узкой, но могла бы и потемнее, и поуже быть для такого особого случая; окна выходили во двор, сравнительно светлый, он знал, что освещенностью двор был обязан низкой высоте дома – всего-то три этажа, и, бросив взгляд на лестничное окно, решил, что преобразует дом в огромный, высокий, перенаселенный мастеровым людом. Он бывал здесь не раз и хорошо знал эту лестницу, но сейчас, медленно поднимаясь по ней, он рассматривал эти перила, стены и двери, словно никогда не видел ничего подобного. Он почувствовал, что волнение с каждым шагом растет, и, прислушиваясь к ударам сердца, подумал, что так и должно быть, что это и есть самое верное, настоящее. Он не стал торопиться звонить в квартиру – несколько секунд стоял перед дверью, сосредотачиваясь, а когда покрутил ручку звонка, с радостью отметил ту его особенность, что не зазвенело вовсе и даже не забренчало, а точным будет сказать, забрякало, словно не медным был звонок, а стальным. Он вздрогнул. Точнее, он представил, что вздрогнул. Раньше он не обращал на этот звонок никакого внимания, а сейчас подумал, что бряканье это – совершенно особенный звон, обязательный что-то ему напомнить. Боясь испортить впечатление, не стал повторять, хотя времени уже прошло больше минуты. Стоя перед дверью, несколько раз переступил с ноги на ногу, прикидывая, как бы он стоял с топором и, если бы топор был, как бы лучше его было припрятать под верхней одеждой – под пальто, – когда бы на нем было пальто, а не пропитанный балтийской влагой плед, одолженный ему в Копенгагене.

Дверь чуть-чуть приотворилась, и он увидел в узкую щель недоверчивые глазки жильца. Нарочно не стал называться, чтобы жилец рассмотрел его сам. И сам со своей стороны продолжал внимательно следить, как его пытаются рассматривать. Дверь, наконец, отворилась.

– Федор Михайлович, вы ли это?

– Здравствуйте, Александр Карлович.

Он переступил порог.

– Давно ли вернулись, Федор Михайлович?

– Только что. Час назад еще на пристани был.

– И сразу ко мне?

– И сразу к вам.

Он оглядел прихожую.

– Смотрю, перегородку сняли.

– Помилуйте, Федор Михайлович, не было перегородок.

– Разве? – а сам подумал: «Не помешала бы перегородка».

Ему понравилось, что Готфридт глядит на него вопросительно. Не понравилось, что так легко оказался узнаваемым. Решил прикинуться, будто думает, что его не за того принимают: за какого-то другого Федора Михайловича. Захотелось посмотреть, как будет.

– Да я к вам приходил как-то... по одному дельцу, может быть, не забыли...

– Как же можно? – изумился Александр Карлович. – Как забыть можно, Федор Михайлович? И не раз приходили. Да что же вы такое говорите...

От неподдельного изумления Александр Карлович будто даже выпрямил спину, так что неисправимая сутулость его чуть ли не сгладилась до неузнаваемости, но тут он порывисто вздохнул, подчиненный силам неведомого натяжения, не дающим сутулому телу потерять прежнюю форму, и вновь стал похож на себя. По этой сутулости, наводящей на мысли о горбе, и особенно по тусклому, подслеповатому взгляду иной кто-нибудь мог бы предположить в нем часовщика – и не сильно ошибся бы, но Достоевский сейчас хмуро глядел определенно на лысину, как-то уж слишком откровенно себя предоставляющую – как-то глупо, дурашливо – под вероятный удар. Не то, не то. Совершенно не то.

Александр Карлович отступил в сторону, пропуская Федора Михайловича в комнату, ярко освещенную заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как

Литературное мастерство

бы невзначай мелькнуло в уме Достоевского, и эта нечаянная мысль ему определенно понравилась. Он быстрым взглядом окинул все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Мебель его устраивала не вполне – дубовая, резная, точно с претензией, он хотел бы попроще – и шкаф, и диван, и овальный стол, и стулья вдоль стены, и чтобы все на солнце сверкало желтизной, как эти рамки на стенах. Картинки в них были по-своему хороши: какие-то девушки с голубями – вот это дело.

Его бы устроил грубый вопрос «что угодно?», но Александр Карлович деликатно молчал.
– Заклад принес, вот-с! – и он вынул из кармана золотые часы.

Вероятно, Александра Карловича что-то смутило в интонации Федора Михайловича, потому что прежде, чем взять в руки часы, он недоверчиво покосился на бороду Достоевского.

– А вы про булавку золотую, – обратился он к бороде, – не забыли свою? Она с апреля лежит.

Смысла в напоминании не было – срок булавке в феврале только. Александр Карлович этими ни к чему не обязывающими словами, вероятнее всего, выказывал гостю благорасположение, но Достоевский счел нужным в них услышать упрек.

– Я вам проценты внесу, потерпите.

И быстро подумал за ростовщика сам, как если бы это тот хотел так сказать:

«А терпеть мне или вещь вашу по сроку продать, это уже моя, батюшка, воля».

Фраза удалась – безжалостная, жесткая; чтобы не забыть ее, Федор Михайлович про себя повторил теми же, не меняя их последовательности, словами. Из уст Александра Карловича он, между тем, услышал другие слова:

– Не извольте беспокоиться. Еще сроку полгода. Будет срок, тогда и поговорим.

Взяв часы тремя пальцами за цепочку, Готфридт продолжал их держать на весу, с кислым выражением на лице, словно сомневался, надо ли связываться с этим залогом. От внимания Федора Михайловича не ускользнула чернота на кончиках пальцев Александра Карловича, – наверное, у всех ювелиров так въедается пыль в кожу. Деталь, надо признать, недурная. Только не для этой истории. Для этой истории ювелир на роль ростовщика не подходит никак. Сколько же можно убивать ювелиров и их кухарок?

– Много ль за часы-то, Александр Карлович?

Поскольку Александр Карлович не спешил с ответом, Федор Михайлович осторожно попытался ему подсказать – навести на желанную мысль:

– С пустяком ведь пришел, не правда ли? Или вы не так думаете, Александр Карлович? Почитай, ничего не стоят, да? Так ведь думаете, да? Сознаться, что так.

– Почему ж ничего...

Готфридт открыл часы.

– Были бы серебряные, вы бы и двух рублей не дали...

– Только они не серебряные.

– А пришел бы другой кто-нибудь, принес бы серебряные... студент какой-нибудь... серебряные, отцовские...

– Только они золотые.

– Полтора бы дали рубля... За серебряные.

– Тридцать восемь рублей, – произнес Александр Карлович; похоже, разговор ему не нравился.

– Тридцать восемь рублей! – воскликнул Федор Михайлович с такой поспешностью, словно только и ждал этого. – Вот! Вот и я про то же!.. В Висбадене мне за них втрое больше давали...

– Вы из Висбадена? – оживился Готфридт, он был рад сменить тему. – Как вам Висбаден?

– Не спрашивайте, – сказал Достоевский. – Омерзителен ваш Висбаден.

– Висбаден, Висбаден, – покачал головой Готфридт.

Достоевского передернуло:

– Да – и что? Да – Висбаден, да – я проиграл, да – в рулетку!

Слышал, как сам прислушивается к себе: все одно к одному – быть припадку. Но не сейчас.

Выражение сочувствия, было появившееся на лице Александра Карловича, сменилось выражением недоверия.

– Часы-то выкупили, впрочем.

– Люди хорошие везде помогут, – быстро проговорил Достоевский.

Он бы не стал продолжать, но Готфридт молчал, выжидательно склонив голову набок,

Литературное мастерство

словно знал, что рассказ воспоследует непременно.

– Меня бы тут иначе не было, – Федор Михайлович неожиданно хлопнул в ладоши. – А я еще в Копенгаген сплавал, у старого друга гостил. Да что деньги? Знали бы вы, какой я роман пишу!.. Неделю на корабле только тем и занимался, что романом своим!.. У меня только он в голове, даже сплю когда!.. Даже когда с вами разговариваю!..

Федор Михайлович засмеялся, да так, что Александр Карлович зримо поежился.

– Мне Катков аванс выписал, триста рублей!.. Их в Висбаден послали, только я уже в Копенгаген уплыл, переслали обратно, сюда... в Петербург. Вам не представить, Александр Карлович, я домой возвращаюсь, а меня триста рублей ждут...

– Зачем же вы тогда ко мне пришли с часами-то золотыми?

– Да вот пришел, – ответил Федор Михайлович. – Мало ли зачем. Затем и пришел, что пришел. На пробу пришел.

– На что? – не понял Готфридт.

– На пробу. Неважно на что. На вас посмотреть.

Александр Карлович почтительно кивнул, словно намекнул на поклон.

– Между прочим, насчет вашей фамилии... Готфридт, это ж по-русски «богобязненная» будет, или не так?

– Почему ж «богобязненная»? Я ведь не женщина.

– Разумеется. Но были бы женщиной, были бы «богобязненной» само собой. А так, понятно, мужчина.

«Да, да, и чтобы деньги на упокой души копила – пожертвовать в монастырь», – обрадовался Достоевский.

– Достоевский фамилия тоже интересная, – произнес Александр Карлович с таким видом, словно отвечал на любезность любезностью. – Так про что же ваш новый роман?

Но охота о себе рассказывать у Федора Михайловича пропала уже.

– Да так, – нехотя произнес Достоевский, – молодой человек становится пленником своей же идеи. Вам, думаю, не интересно. Тридцать восемь, ну что ж! На четыре месяца, хорошо?

Готфридт достал из кармана кольцо с ключами и пошел в другую комнату, – дверь за собой он оставил открытой. Вместо двери Федор Михайлович представил колышущуюся занавеску. Он услышал, как Готфридт открывает комод; вообразил: верхний ящик. Ему захотелось увидеть собственными глазами, он подошел к двери. «Вот, – сказал себе Федор Михайлович. – Самое главное». Взгляду его предстала неподвижная спина, сейчас она казалась особенно узкой, потому что в виду большого комода притязала заслонить от глаз Достоевского сразу все. Готфридт, приоткрыв ящик, ждал, не шевелясь. Достоевский стоял и смотрел. Комод был заставлен статуэтками весь. Федор Михайлович отчетливо видел, что голову Александр Карлович вбирает в плечи, будто опасается нападения сзади. Вдруг он резко обернулся и посмотрел на стоящего в дверях Достоевского. В его глазах отразился испуг. «Статуэтки – лишнее», – решил Федор Михайлович, отступив назад в комнату – поближе к двери в переднюю, и замер на месте. Оба молчали, не шевелились, не издавали ни звука.

Так минута прошла, другая.

– Триста рублей это только аванс, – произнес Достоевский как можно небрежнее.

Скрипнул ящик комода, и снова воцарилась тишина. Достоевский услышал, как Готфридт идет по паркету. «А сейчас он укладку достает», – подумал Федор Михайлович, вспомнив ключ с зубчатой бородкой, превосходящий размером другие ключи.

Он весь обратился в слух, Готфридт явно опасался шумных движений. С улицы донесся выкрик извозчика. Достоевский поглядел под ноги: пол поблескивал, так был натерт. Однако, кто ему натирает? Вряд ли сам.

То ли вспомнилось, то ли тут же придумалось – про чистоту: чем серьезнее относишься к чистоте, тем больше ты скупердай. Усмехнулся. Поглядел на дощатый пол в передней. Темная охра.

Готфридт возвратился в комнату к Достоевскому, он держал деньги в руке и сердито смотрел на Федора Михайловича, ожидая от него каких-то слов. Достоевский молчал и ждал, что скажет Готфридт.

– Вы любите Шиллера? – спросил Готфридт.

– Да, – поморщился Достоевский. – «Разбойники» – из любимых. – И чтобы покончить с литературой, спросил: – А вы не боитесь?

Готфридт вскинул брови.

– После того случая, – сказал Достоевский.

Литературное мастерство

- После которого?
 - Молодой человек убил ювелира и его кухарку. Ювелир тоже закладчиком был. Вы же читали в «Голосе»?
 - А вы где читали? На корабле?
 - У вас есть кухарка? – спросил Достоевский.
 - Я выпишу квитанцию, – Александр Карлович подошел к столу. – Условия вам известны – пять процентов. Другие десять копеек с рубля берут. А я – пять. Почему вы спросили о моей кухарке?
 - А сестра? – спросил Достоевский. – У вас должна быть сестра.
 - Почему вы спрашиваете о моей сестре?
 - Вы ведь тоже ювелир?
 - Вы прекрасно знаете, что я ювелир. Зачем этот вопрос, Федор Михайлович?
 - Вот я и спрашиваю: вы не боитесь?
 - Разве я сумасшедший, чтобы вас бояться, Федор Михайлович?
 - Почему же меня?
 - А кого?
 - Того, кто мог бы быть вместо меня.
 - Вот расписка. Я вас плохо понимаю сегодня.
- Достоевский ушел.

Предчувствия не обманули: ближе к ночи у себя на Столярном подвергся припадку – одному из самых тяжелых. Смог встать из-за стола, и упал в бесконечность. Потом, когда тело налилось утроенной тяжестью и когда понял, что все позади, шарил рукою по полу, зачем-то ища половик, и не знал, сумеет ли подняться на ноги. Тетрадь рядом лежала. Мысль была о луне. Была ли полной луна.

Эта ночь и другим показалась тяжелой.

Ограбили лавку в Апраксином. К дровяной пристани на Фонтанке течением прибило труп. Зато не было ни одного пожара.

Луны полной не было тоже.

Что до пожаров, это чудо, что свечи потухли, когда подсвечник упал, – он, должно быть, бил ногой этажерку. Достоевский искал опоры подняться. Руки тряслись.

Был сон Готфридту. Длинный тягостный сон, который и забылся уже во сне – весь, кроме финала.

В какой-то момент он как будто проснулся во сне, пробудился от прежнего тяжелого, невнятного, гиблого сна, и очутился в зримом, предельно выразительном – в новом. Что-то случилось ужасное, необъяснимое, резкое – и вот вроде бы он у себя дома, но не совсем у себя, да и кто бы верно ответил: у себя ли во сне? Все как-то так, но не так. Он догадывается, что лежит на полу, он не может пошевелиться, члены не слушаются его, и все же он видит, что происходит в комнате. Готфридт видит комод с выдвинутыми ящиками, видит незнакомого человека лет двадцати – в расстегнутом пальто: он стоит на коленях и роется в продолговатом сундучке. Готфридт знает, что сундучок этот выдвинут из-под кровати, у Готфридта не такая кровать, и он не укладывает подушки башенкой, и сундучок не его, нет у него такого, но он узнает свои мелкие ключи на металлическом кольце, вдетом в ухо большого ключа, торчащего из замка на откинутой выпуклой крышке. Он понимает, что вещи, которые тот человек яростно перебирает, это его вещи. «Это мои», – пытается сказать Готфридт, но язык не подчиняется ему. И тогда слышится уверенный голос: «Это мои», – отчего Готфридт цепенеет еще сильнее. У окна стоит Федор Михайлович, не по сезону в летнем костюме (потому что осень сейчас), и глядит мимо куда-то. Готфридту кажется, что молодой человек сейчас убьет Достоевского, и он собирается Достоевского предупредить, с трудом разжимая зубы, но тот молодой человек не замечает ничего ровным счетом – только роется в сундучке. Вот достал заячью шубку. «Это моя, – говорит Достоевский, глядя в сторону. – Заложил через Прасковью Петровну». «Позвольте, – хочет возразить Готфридт, – то ж пальто было, если через Прасковью Петровну, ватное». Вместо слов своих он слышит мычание, не более того. «Было ватное пальто, – отвечает Достоевский с неприятной ухмылкой, – стала заячья шубка». Он как будто мысли читает, и по-прежнему глядит в сторону, в никуда. В руках человека появились часы на цепочке. «Мои, золотые», – говорит Достоевский. Готфридт хочет снова ему возразить: раз не выкупленные, значит все-таки его не совсем, а если прямо сказать: совсем не его. А тот человек извлекает булавку. «Моя. Золотая, с брильянтом. Десять рублей серебром», – произносит торжественно Федор Михайлович. Готфридт хочет поправить: «В феврале все будут пятнадцать». А молодой

Литературное мастерство

человек торопливо набивает карманы цепочками, лентами и браслетами, и Готфрид понимает, что они с Федором Михайловичем заодно и оба против него, лежащего на полу почему-то. И видит он, что на шубке на заячьей крови, и простынка, отчего-то лежащая на полу, вся в крови, и кровь на руках того человека. «Это моя», – думает Готфридт, понимая, что думает вслух наконец, и чувствует, как в мозгу его болью глухой разбухает какая-то невыразимая тоска. «Это моя», – отзывается Федор Михайлович хриплым эхом и подходит к нему и, приблизив лицо, едва не касаясь его бородой, произносит вприщурку: «Успокойся, голубушка. Мертвая, а как будто живешь. Без тебя разберутся. Прощай». Готфридт проваливается в темноту, чтобы тут же проснуться в холодном поту. Ему нечем дышать. Боль в голове, словно ее раскололи. Силы нет закричать. Сердце бешено бьется, а мысль только одна: живая, живая. Живой.